

Новогрудским

АНАБАЗИС

(ИСКУССТВО СОБИРАТЬСЯ В ДОРОГУ)

Открываю глаза (кажется, стучат). Вижу на столе початую бутылку лимонного ликера, немытые кофейные чашки, волнообразные размоченные вафли, набитую окурками пепельницу и снимаю первые три вопроса: где я? кто я? что это за штабель стоит с коробочками у меня в комнате?

Я нашел себя тепленьким в шумном вчерашнем вечере.

Да. Стучат. Энергичный ритм напоминает увертюру к «Кармен».

Просыпаюсь окончательно и понимаю, что лучше бы этого не делал по крайней мере еще часа два-три.

— Илюша? Илья? — Людмила приоткрывает дверь.

В комнату бесшумно входит Значительный.

Людмила улыбается; она любит свои фонарики в коробочках, изрисованных метрошно-туалетной «М», и говорит, что мне звонит мама. Наконец до моей соседки доходит, что, пока она стоит в дверях, я не могу встать и одеться.

— Пошли, мой хороший, пошли-пошли... — говорит она пожилому, безнадежно меланхоличному коту.

Влезаю в джинсы и лечу к телефону.

Судя по голосу, у мамы хорошее настроение.

— ...на вокзале к тебе женщина подойдет...

— Что за женщина?!

— ...для Ираны документы передаст. Я сказала ей номер твоего вагона и места. Ты же знаешь Ирану?..

—?!

— Ну... с четвертого этажа. Хашима жена бывшая.

Я только сказал:

— Зачем?.. — (Нет, я не так сказал, я сказал: зачем?!, а мама уже обиделась.)

И в трубке слышен город — сигналы автомашин, голоса людей со знакомым волчьим подвывом. (Раз открывают окна, значит, там вовсю бушует бакинская весна, а потолки у нас дома пятиметровые — акустика как в филармонии...)

Пришлось перезванивать.

Не успел согласиться взять документы, как тут же посыпались вопросы: «Тебе на работе справку дали, что ты в отпуск едешь? Ну что ты молчишь? Хочешь в Карабах загреметь?! А копию, копию дали? Курицу купи в дорогу. Купил? Не ври. Я же знаю, что ты врешь. Труссы не забудь запасные...»

До «носовых платков» я терпел, но после...

— Мам, почему я у тебя один?!

— Отца спроси. — И отбой в ухо.

Я упал в кресло и немедленно закурил.

Еще можно было налить себе лимонного ликера — после вчерашней попойки, моих проводов в отпуск, как раз оставалось на две-три рюмки, — но было лень вставать, почему-то казалось: одной сигаретой обойдусь. Казалось...

Два с половиной года назад эта самая Ирана приезжала в Москву оформлять визу. Как раз после январских событий в Баку. Остановилась она у каких-то своих знакомых в высотке на Баррикадной.

Я подошел к дому со стороны американского посольства.

Она передала мне посылку от мамы; скрученная бечевка больно врезалась в пальцы, и я оценил бескорыстную родительскую любовь.

Было видно, что уходить сразу ей вроде как неудобно, хотя по наброшенной на плечи легкой курточке поло и голым ногам не стоило труда догадаться, что моя бакинская соседка, выходя на мороз, рассчитывала как можно скорее вернуться домой. Именно эта ее дальновидность меня и задела, и тут же почему-то проснулось давнее дворовое чувство ущемленности перед нашими богатыми соседями с четвертого этажа — надстройки советских времен.

Ну конечно, подумал я, она ведь не просто там какая-то соседка, она дочь бывшего замминистра торговли, она с четвертого этажа, то есть для всего нашего двора — «барышня СВЕРХУ». У меня появилось желание показать этой ладной брюнеточке СВЕРХУ, что теперь мы на равных: столицу мало интересует, на каком таком этаже в Баку проживает дочь старорежимного министра.

Для начала я поинтересовался (это было бы совершенно невозможно в Баку, где люди СНИЗУ хорошо знают свое место), в какую именно из Швейцарий собирается моя соседка — французскую, итальянскую или же все-таки немецкую, — затем развил тему аж до первого Гётеанума*, после чего уже, как человек, не один год разлученный с малой родиной,

* «Антропосовский храм», возведенный Рудольфом Штейнером и его сподвижниками в Дорнахе в 1916 году и сгоревший в новогоднюю ночь 1923 года.

стал давать Иране дельные советы, в основном сугубо психологического плана. Ирана, и в самом начале подозрительно во всем со мною согласная, теперь уже соглашалась всеми теми крохами тепла, которые пока еще оставались в ней, и, поглядывая мимо меня, она со звериной деликатностью почему-то избегала смотреть мне в глаза, все настойчивее притопывала ногами. Не обратить внимания на эти ее фольклорные притопы было бы верхом неприличия с моей стороны. И я обратил. Во все глаза. На ноги...

Вздрыбленные черные волоски бегут от худеньких коленок, сгущаясь к подъему стопы. А сама она маленькая, темнокожая уже даже не по-кавказски; под глазами порохового цвета круги, как у актрис немого кино, только там, видно, пленка виновата, мода, а тут, скорее всего, слабое сердце, развод с Хашимом...

— Тебе надо идти, — говорю, — у тебя ноги голые. Замерзнешь.

— Ничего. — Она улыбнулась плотно сжатыми губами.

Пожалуй, я слишком задержал свой взгляд на ее ногах, но ведь так соскучился здесь, в Москве, по таким вот ногам, неделю не бритым, с неизменным шрамом, или — что еще лучше — только что побритым, со свежим порезом сзади, чуть повыше пятки (там ямочка и тут же взгорок) — трудное место для большинства бакинок... Мне уже не хотелось доказывать Иране, что мы сейчас на равных у этого высотного дома; другого хотелось... Воображение до того распоясалось, что, взглянув на меня мельком, она даже смутилась, после чего немедленно смутился и я, удивляясь тому, как порою тайное легко

прочитывается, особенно вот такое тайное — случайно вспыхнувшее и случайно погасшее.

Надо было заканчивать разговор, и я спросил для плавного его завершения:

— Как там, в Баку? — (Надо же, нашел когда!)

Ирана молчала.

Она молчала и теперь уже неотрывно смотрела мне прямо в глаза. Я не выдержал ее взгляда, отвернулся и посмотрел на скульптуру сталинского рабочего, украшавшую наимрачнейший фасад здания.

Тогда она сказала:

— Цветочки на асфальт кладем, где танками нас давили.

Я попрощался и ушел.

Я шел к метро и твердил самому себе: «Как там, в Баку? Как там, в Баку?.. А ты что, сам не знаешь, как может быть там, в Баку, после всего того, что было в январе, а?..»

И я представил себе те ночи, распоротые криками, как животы животных, небо слепое, без звезд, простроченное пунктирами трассирующих пуль... Ирану, ползающую на коленях. Как не хватает ей тела, чтобы накрыть собою дочь и сына. А разве мама моя не могла вот так же ползать на четвереньках?! А я вопросом своим чуть ли не простил тех, кто ставил их на колени... А что бы я мог сделать, если бы был там? Примкнуть к ребятам из Сальянских казарм? Дальше я уже ничего не представлял, не думал, не твердил себе. Дошел до точки. Растерял я себя. И только в метро, проходя турникеты, рукой, свободной от посылки, как футболисты во время штрафного удара, я инстинктивно защитил то, что еще оставалось у меня от самца.

Затушил сигарету. Зарыл в кладбище вчерашних окурков. Встал. Открыл окно. На подоконник сел и прошелся вразвалочку, навевая образ нового русского, тяжелогрудый голубь. Я раскрыл чванливому герою вафлю, надкусанную кем-то из вчерашних моих гостей.

Нет, Ирана тут ни при чем, да и на Хашима я давно уже зла не держу; давно простил ему, что когда-то он взбаламутил весь наш двор сообщением, будто бы вовсе не уверен в том, что родившийся у Нанки мальчик — это его ребенок, а не мой, к примеру, или того же Марка. Поскольку Марка от Наны уже давно отделяли Западная Европа и волны Атлантического океана, то, естественно, подозрение пало на меня, что явилось одним из мотивов моего бегства из Баку в Москву. Но... время лечит, особенно лихое перестроечное, и неудачные браки тоже. О чем речь, конечно же, я возьму документы, конечно, передам.

Вот уже почти полгода, как я живу в этом сером шестиэтажном доме на Малой Бронной у самых Патриарших прудов; это мое пятое место жительства за семь лет. В декабре прошлого года я развелся и перед самым Новым годом перебрался с Преображенки сюда, в центр города.

От неверной супруги своей я ушел так стремительно, что поступок мой явился полной неожиданностью для тутошней и тамошней родни. (Считалось, что мы идеальная пара: заслуга больше ее, чем моя.) Мне светило остаться без крыши над головой, если бы не муж моей кухни, приятельство с которым я водил, любезно согласившийся сдать свои пятнадцать квадратных метров на Малой Бронной за чисто символическую сумму, которую я тем не менее сам

не в состоянии внести — мама деньги присылает. Последнее время деньги все чаще и чаще запаздывают, приходят не в срок. Иногда я занимаю их у отца, иногда мужу моей кузины приходится ждать неделю, а то и две. Теперь он чаще бывает на Бронной, сделал себе еще одни ключи, приходит с друзьями кирнуть, иногда с женщинами. Кузина моя начала догадываться. Пару раз пробовала расколоть. Не получилось. Как-то недавно позвонила, злая такая, говорит: «Я эту вашу гарсоньерку с рерихнувшимися экстрасенсами и литературными профурсетками когда-нибудь сожгу. Вот увидишь, Илья!» ...Малина... Конечно малина. Центр города. Институт рядом. Друзья ходят толпами. Я, можно сказать, жирую, но есть одно но... По субботам и воскресеньям здесь тишина такая, что невольно начинаешь приберегать дыхание. Это не ночная тишина юга перед тем, как сделаться метафорой, и не та северная, естественная и далекая, какую вдруг обнаруживаешь усталым путником на исходе дня в поле среди тяжелых колосьев под прозрачным высоким небом с двумя-тремя облачками, и уж тем более это не тишина дачная на станции Икс, полная эстетических амбиций между протяжным гулом двух летящих навстречу друг другу электричек. Нет-нет, эта субботняя и воскресная тишина, особенно убийственная летом, когда народ разъезжается по своим именьям, — одно из непременных условий современного столичного города со всеми его «аминь» за углом каждой улицы, это условие, с которым не можешь не считаться, улавливая его грезящим слухом в беззвучных волнах, накрывающих дома, улицы и деревья. По субботам и воскресеньям так хочется, чтобы кто-нибудь набрал твой номер телефона хотя бы

по ошибке. (Вот когда я начинаю жалеть, что развелся, что совершенно неспособен на компромиссы.) Но сегодня у нас, слава богу, не суббота и не воскресенье, голубь просто ошибся, сев на мое окно. Поэтому-то я и наградил его вафлей.

Вообще-то мы с Людмилой ладим. Она почти всегда приглашает меня на свои «великосветские» девичники, делится гуманитарной помощью из Германии, которую ей регулярно устраивает Христофор Арамович, и иногда (если ей становится совсем меня жаль) даже дает деньги в долг. Люде не нравятся две вещи: когда я стучу по ночам на машинке и когда ко мне приходит Нина. Она не любит мою машинку, она не любит моих друзей, хотя своих водит толпами, и не преминет сообщить новым знакомым, которых легко добывает и теряет: «У меня сосед — писатель, подруга — актриса в Театре на Таганке (я имел счастье быть представленным этой спившейся Офелии, играть ей только в пивном баре на Пушкинской), а друг (непременно выдержит паузу) — известный психотерапевт (она говорит — “тэрапэфт”), его постоянно показывают по телевизору... знаете, кого он лечил?!» Раньше она называла имена кинозвезд и эстрадных певцов, теперь — все больше политиков и бандитов.

В нашей квартире четыре комнаты, не считая чулана — самой большой, светлой и квадратной комнаты с двумя окнами на Патрики. Еще не так давно чулан принадлежал всем и никому. За чулан шли ожесточенные бои, сменявшиеся ненадежными фронтowymi затишьями. Четыре другие комнаты вытянуты до такой степени, что напоминают старые гробы — два по одну сторону коридора (тоже изрядно вытянутого) и два по другую. Один из этих гробов в левой части

квартиры снимаю я (если бы я поднялся на роман типа фальсифицированной автобиографии, в этом месте добавил бы непременно — Ваш покорный слуга, Илья Новогрудский, прошу любить и жаловать), три других недавно отошли моей соседке с дочерью-отроковицей и котом Маркизом, которого мы с Нинкой прозвали Значительным. Раньше здесь проживали две старушки, родные сестры, — Ядвига Иосифовна и Мария Осиповна (паспортистка неправильно записала отчество младшей, Маруси, родившейся уже в советское время). Мария Осиповна недавно умерла от сердечной недостаточности в возрасте семидесяти девяти лет, а ее старшую сестру Ядвигу, давно выжившую из ума, благополучно отправили в дом престарелых, конечно не без помощи Людмилы и ее любовника. Последнее и единственное условие старушки, перед тем как сгинуть на веки вечные, — чтобы ей вернули черепаховые очки Маруси (должно быть, долгие лета предмет зависти). «Они же сестре теперь не нужны». Ход мышления вполне логичный, если бы таковые очки у покойной действительно были. Но старики, какими бы неудобными они ни казались, как бы порою ни раздражали нас, — в быту не очень-то заметны: оказывается, ни я, ни Людмила не помнили, какие именно очки носила покойная, в черепаховой или в серебряной оправе. Где теперь искать их — не знал никто. Арамыч трижды бегал на Садовое кольцо за очками. Старуха только и говорила: «Не те. Те — черепаховые, круглые...» Людмила была в бешенстве: «Посмотрите, какие очки вам покупают! Принцесса Монако такие не носит, а ваша сестра всю жизнь за копейки простой машинисткой проработала». — «Не простой. В газете “Правда” простые не работали». Короче, старушку

отправили в дом престарелых и вскорости, по слухам, та приказала долго жить. Людмила начала планомерное освоение чулана: сначала она забила его старой мебелью, консервированными помидорами и огурцами, затем вынесла все баллоны и заставила весь чулан фонариками — Людмила решила делать бизнес. Она где-то добыла партию китайских фонариков московского производства, всего по доллару за штуку, и рассчитывала «оперативно продать» их в Турции то ли за два, то ли за три с половиной. Из-за этой безумной затеи теперь страдают все, включая Значительного, который пометил уже пару коробочек, за что и получил крепко бельевой палкой по ушам; целых два дня обиженный кот не вылезал из-за холодильника.

Я же, поглядывая на не тронутых котом рыб и вспоминая, как однажды Значительный помочился на мой лучший свитер из верблюжьей шерсти (что только я ни предпринимал потом, дабы избавиться от едкого этого запаха, даже шампунем раз постирал), испытывал чувство морального удовлетворения. «Мне отмщение, и Аз воздам», — телеграфировал я за холодильник.

С Арамычем у меня тоже сложились неплохие отношения, правда, он постоянно путает мое имя. Людмила уверяет, что Арамыч экстрасенс и «прекрасный составитель гороскопов». Он буквально за несколько недель предсказал государственный переворот: ему «открылась» дача в Форосе и Горбачев на какой-то аллее с Наиной Ельциной. Захаживает он к Людмиле неизменно по вторникам и четвергам, но его бывает так много, что у меня создается впечатление, будто он с нами живет. Появляется Арамыч почти всегда

с букетом очень дорогих цветов и бутылкой шампанского (неприменно полусухого), которое называет «кисленьким». «Арсений, как вы насчет “кисленького”?» — говорит он мне, входя в мою комнату всегда без стука.

Беру грязные чашки, иду на кухню.

Людмила размораживает холодильник и курит. Людмила сидит на табурете, забросив ногу на ногу, и задумчиво играет верхней тапочкой; через каждые две секунды тапочка хлопает о голую пятку.

— Вам не мешают мои фонарики? — спрашивает она так, будто речь идет о многомошном «Феррари».

— Что вы... — отвечаю.

Прежде чем свалить всю грязную посуду в раковину, я открываю кран и смываю пепел. (Людмила всегда курит на кухне, только на кухне, и всегда стряхивает пепел в раковину. Это уже своего рода обряд.)

— Когда я вернусь из Турции... — И тут мы оба поворачиваем головы.

Из морозильника от антарктического нароста отвалился и рухнул кусок льда.

Людмила встает, в лучших традициях русской балетной школы вытягивает ногу и подпихивает носком тряпку под холодильник.

— ...я подарю вам джинсы, — продолжает она, — Христофорушка говорит, в Турции необыкновенно дешевая джинсовая одежда.

— Спасибо, но я дешевые не... — Я вообще не представляю себе, как можно сказать такое — «джинсовая одежда».

— Это уж как хотите, я ведь просто к тому... Христофорушка говорит, сейчас все джинсы турецкие, даже дорогие американские.

Соседке моей кажется: в Турции есть все, абсолютно все, кроме ее китайских фонариков московского производства. Людмила просто бредит Турцией.

— Когда я вернусь... — с бардовской интонацией конца шестидесятых продолжает она и тут видит отпечаток губной помады на одной из чашек: — Творог ваш и яйца я поставила на подоконник.

Людмила подержала окурочек под краном, бросила его в мусорное ведро и, круто развернувшись (я даже почувствовал посланный ее негодующим бедром теплый пассат), ушла из кухни.

В коридоре, у телефона, остановилась:

— Включите телевизор. В десять пятьдесят по первому Христофора транслируют.

Ну вот, теперь я могу спокойно помыть посуду и приготовить себе завтрак. Кстати, о завтраке. Я бросил на подоконник взгляд, преисполненный надежды. (У меня холодильника нет, и кое-какие скоропортящиеся продукты я держу у Люды.) Жестокое разочарование постигло меня: яиц оставалось пять, творог не просто начал желтеть, а его уже давно пора было выбросить. Зато у меня нераспечатанная пачка пикантного майонеза! Можно утро начинать.

В уже взбитые яйца бухаю полпачки майонеза, опять взбиваю, потом крошу плавленый сыр туда же (попал кусок фольги, надо его ножом...), после чего тихо иду в чулан и осторожно, чтобы не снести высотную конструкцию из китайских фонариков, ворую у Людмилы красивую красную луковицу, возвращаюсь на кухню, мелко-мелко рублю ее и на сковородку, в шипящее масло. Пока поджаривается мой (вернее, Людмили) лук, я созерцаю Значительного, уплетающего мойву. Я смотрю на него, как смотрят на луну,

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru